

Людмила ШАРГА

Страницы ненаписанных книг

Город у моря был особенным. Каждому, кто впервые попадал в него, он открывал множество своих лиц и лишь немногим — лик, который и был, собственно, настоящим лицом города, о котором ходило множество мифов и легенд, и чтобы увидеть его, надо было обладать особым зрением — внутренним.

Остальные лица были обычными, ничем от других городов не отличающимися, и отыскать, на чём держалось относительно мирное сосуществование столь разных слоёв и прослоек, не представлялось возможным.

После длительного отсутствия бросалось в глаза запустение, царящее в городе. Он напоминал заброшенного ребёнка, прежде любимого, а после забытого и покинутого всеми.

Но и в таком состоянии он был прекрасен.

Когда-то на его улицах шумело море. Многие морские обитатели имели собственные домики-раковины. Приходило время, домики падали на морское дно, и так было тысячи, десятки и сотни тысяч лет. На дне из покинутых раковин сложился камень. Море отступило. Пришли люди и построили из камня-ракушечника город.

В домах из донного желтоватого камня легко дышалось, хорошо сохранялись тепло зимой и прохлада — летом.

Рядом плескалось море, и маленькие и большие его обитатели по-прежнему роняли свои домики-раковины на дно, когда приходило время. Иногда — во время шторма — волны выносили их на берег, и люди любовались их совершенством.

Упавшие на дно раковины, смешиваясь с песком, превращались в камень, чтобы через миллионы лет море и город вновь поменялись местами и новый город возник на том месте, где пели колыбельные песни погибшим морякам печальные волны.

Дома, построенные из ракушечника, становились надёжным кровом для обитателей города на десятилетия, на несколько веков. Но и они когда-нибудь обветшают и станут песком, и на том месте, где шумел и купался в солнечном свете город, снова раскинется море, и домики-раковины будут падать на дно, смешиваясь с морским песком, чтобы стать камнем, из которого когда-нибудь выстроят дома на побережье.

И так будет всегда, пока на свете будут моря и люди и будет сам свет.

Первый трамвай увёз пассажиров к безлюдному пляжу, к тихому утреннему морю. Наплававшись вдоволь, они будут стоять у самой кромки розовеющей воды, ожидая восхода солнца и представляя, как тысячи тысяч морских обитателей рстят домики-раковины, чтобы потом упасть с ними на дно, смешаться с песком и через миллионы лет стать светлым солнечным камнем, из которого люди выстроят прекрасный город, чем-то похожий на тот, что медленно и нехотя пробуждался сейчас наверху.

Утренние лица читаются легко, словно любимые книги. Печать дневных забот ещё не легла тёмной тенью, и лица хранят следы сневидений. Цветные и чёрно-белые, вещие и обычные, ничего не означающие, тревожные и радостные, светлые и печальные...

Сны оставляют следы на утренних лицах и улетают. Некоторые из них остаются, длятся наяву, повторяются, и тогда мы говорим: сон в руку. Но чаще всего люди забывают свои сны. Заботы дня грядущего всё перечёркивают. Довлёт днени злоба его...

И лишь когда случается что-то, зачастую непоправимое, вспоминается сон, который снился и, оказывается, был вещим.

Сонный и неторопливый первый троллейбус везёт меня к морю.

Читаю сон женщины, одетой несколько нелепо для раннего летнего утра: чёрный шифон, шёлк, кружево и простые шлёпанцы на босу ногу. Она прикрывает глаза, томно вздыхает, словно хочет досмотреть свой сон, прерванный неприятным телефонным звонком, и раскачивается, раскачивается, раскачивается на переднем сиденье, и в такт ей раскачивается троллейбус.

На Дегтярной в полупустой салон входит человек в синей выгоревшей на солнце майке.

Он всегда садится справа у окна. Ему сни-

лись серебристые косяки рыбы. Он ездит рыбачить на Ланжерон много лет. Я не знаю, кто он и откуда, где живёт, не знаю его имени, но мы, словно давние добрые друзья, здороваемся каждое утро и улыбаемся друг другу.

Сон мальчика полон разноцветных горящих фонариков, летящих в ночном небе. Сон девочки похож на мой сегодняшний: в нём идёт летний тёплый дождь, и радуга перекинулась через омывтый, сверкающий город.

Сон города. О, это удивительный сон. Когда-нибудь я расскажу, что снится приморским городам.

В этом сне мостовые и улочки сбегают к морю. Дворики, дремлющие в тени акаций, витая прохладная струя, бьющая из дворового крана, солнце, дробящееся на тысячу солнц в тяжёлых матовых гроздьях "лидии". Девочка спускается по деревянной лестнице с галереи второго этажа... Неужели я...

Что хранит в себе кровь? Она помнит все наши воплощения и воплощения наших родных — кровных, чужих — кровных. Чужая кровь становится твоей постепенно, по капле, впускает в тебя чью-то жизнь, чью-то судьбу, чью-то память.

Иногда в уличной толпе, среди сотен других лиц, взгляд выхватывает лицо случайного встречного. Оно более чем знакомо, оно кажется родным, тем, которое склонилось надо мной маленькой, в горячем бреду разметавшейся на узкой кровати с тугой панцирной сеткой. И белое пикейное одеяльце сброшено на пол, и тревога плещется в любящих и любимых глазах отца. Рядом — на стульчике — уронив лицо в лодочку сложенных ладоней, мама, тоненькая, с растрёпанной косой, к которой мне так хочется прикоснуться. Обычно мамина коса аккуратно заплетена и убрана в строгий тяжёлый узел на затылке.

Дотягиваюсь до русских спутанных прядей, и проваливаюсь куда-то глубоко, и уже ничего не помню. Кровать плывёт, покачиваясь, по тёмной-тёмной реке, и кажется, что это не кровать, а мамы ладони, узкие, сложенные лодочкой, и я там — внутри. Отец кладёт прохладную руку на мой лоб, и становится светлее, жар уходит в его ладонь, и я открываю на минуту глаза, чтобы вновь закрыть их и уснуть.

Просыпаясь, вижу за спиной отца светлую, смеющуюся женщину. Смех её серебряными шариками рассыпается по комнате и превращается в лунный свет. Эта женщина не из моей жизни и не из моей памяти, но я знаю о ней всё, потому что она — мой кровник. Её кровь — первая, отрицательный — однажды стала моей и уберегла меня от тёмной реки.

За больничным окном — осень. Сброшенная листва лежит рыжеватыми свитками на зелёной ещё траве. Деревья-исполины, роственники старого кирпичного здания больницы, одной из первых в городе, шепчутся с ветром о скорой осени, и в этом шёпоте — тревога, ожидание и страх. Страх перед умиранием и новой жизнью. Деревья помнят многое, тяжелы и морщинисты их стволы.

Там, где солнечный свет падает на зеленую ещё листву, возникает удивительное свечение, и каждая прожилка листа просвечивается насквозь.

Ветка стучит в оконное стекло — просит открыть окно, наверное.

Утром на ветку прилетает синица, поёт о чём-то своём, суетится, и ветка вздрагивает, и солнечный свет растекается радужным ореолом.

Вечером прилетает другая птица — серенькая, с тонким длинным носиком, очень похожая на мухоловку. Но мух она не ловит, просто перебирает крохотными лапками, скачет по ветке, и всё ближе, ближе к окну, и вот она уже на оконном откосе. Стукнет несколько раз длинным носиком-клювом по стеклу и стрелой — на ветку.

До боли захотелось вдруг стать на какое-то время серой птичкой, чтобы взлететь на ветку, туда, где сквозит нежную прозелень сочитается медовое, ярое августовское солнце, вспорхнуть на миг.

И вниз, к рыжим лиственным свиткам.

По седому каменному стволу старого ореха проходит муравьиная тропа.

Снуют муравьишки туда-сюда, теряются в бороздках древесной коры и снова выбегают на свет Божий. Смотрю на это броуновское движение из окна и понимаю: только непосвящённому кажется, что там, на тропе, хаос

и неразбериха. На самом деле каждый муравей чётко знает, куда и зачем бежит. В отличие от нас, человек. Суетимся, пыхтим, раздуваем щёки от собственной важности и для собственной же значимости и весомости, толкаемся, торопимся, толком не зная и не понимая, за чем и куда спешим.

Продаём. Предаём. Убиваем.

Потом оказывается, что всё, за чем бежали, переступая через всё и вся, не более чем иллюзия, плод разыгравшего воображения. И всё, чего алкали, все добытые с таким трудом ценности — не что иное как мишура, обманка.

Переливается покрывало Майи, дрожит, волнуется.

Под ним пустота. Под ним чужие мысли и чужие слова, чужой опыт, чужие жизни и смерти...

Под ним театральные подмостки, сцена. В зрительном зале ни души. Все нынче рвутся на сцену. Туда, где бутафория и декорации. Без них уже и жить не получается.

А настоящее всё это время было рядом — стоило лишь протянуть руку.

Но разве ценим мы то, что находится рядом, что даётся легко и без усилий, без бега по кругу? Нет. Нам подавай состязания, чтобы первым прийти к финишу, чтобы медаль, и кубок, и звуки фанфар.

Не похоронный ли марш играют...

О золоте и молчании...

Кружево кофейного дыхания сжалось в тёмную точку и раскрылось золотым цветком. Стою зачарованная, забыв обо всём, а там — под цветком — кофе.

Нет, не убежал.

Золотые лепестки вспенились и готовы были вырваться за пределы узкого горлышка, но я опомнилась и сняла турку с огня. Цветок опал, исчез, утонул в густом горячем кофейном дыхании.

Запечатлеть не успела, но успела запомнить.

Откуда столько золотого в сегодняшнем кофейном вздохе?..

Золотое очарование. Золотые лепестки. Золотое молчание.

Вот оно. Поймала.

Молчание — золото. Молчи. И будет тебе счастье.

Молчу. Счастье стекает по оконному стеклу растаявшими снежинками.

Счастье — одна из летящих снежинок, и все они — счастье, и зовётся это счастье метелью.

Счастье — в молчащем телефоне и в телефоне оживающем, в голосе долгожданном, родном, и далёком, и таком близком.

Счастье — слышать в ответ: "Всё хорошо. Скупаю. Люблю".

Счастье — говорить в трубку, стоя у окна, за которым в лунном свете плывут лиловые январские сумерки, хрустящие и нарядные.

Огромная опаловая луна видит меня, а я вижу её — и в этом счастье.

Первое полнолуние новолетья.

Тишина и покой — снаружи. Неподъёмная тяжесть — внутри.

Почему так?

Потому что молчание — золото.

А золото — металл не из лёгких.

Не оттого ли таким тяжким грузом ложится на душу молчание?

Но ведь не всякое молчание — золото. Как не всякое слово — серебро.

И то, что расцветает золотым внутри, опадёт ещё глубже и сохранится.

Если вовремя снять с огня.

Кто помнит о золотых лепестках, глядя на грязные потёки.

Сбежавшие слова напрасны, как правило, пусты и след оставляют грязный и дурно пахнущий.

Совсем как сбежавший кофейный выдох.

4 июля, день.

Мимо этого дома хожу часто — и всегда со странным чувством...

Сухие побеги плюща, напоминающие омертвевшие сухожилия, уводят в рассказы Эдгара По. Сейчас лето, и сверху дом укрыт пышной зелёной шапкой — там плющ свеж и зелен, в отличие от этой стены, выходящей в Купальный переулок, и от ворот, через которые, судя по всему, давно никто не проходил.

Но дом ещё жилой. Об этом свидетельствует живое окно под самой крышей.

Окна многое могут рассказать о жильцах. Для этого совершенно необязательно в них заглядывать — всё и так становится понят-

ным с первого взгляда. Или со второго.

Между тем дом этот — не из обычных. "Особняк Шпенцера" — гласит табличка. Говорят, что самого особняка нет, а табличка просто перенесена на соседний с ним особняк К.Ю. Лемме.

Что ж... вполне возможно.

Моисей Липов (Филиппович) Шпенцер (1860 — 1927), одесский второй гильдии купец, отец поэтессы и писательницы Веры Инбер. До революции ему принадлежали бланкоиздательство, типография и литография, для которых он построил огромное трехэтажное здание в Стурдзовском переулке, 3 (позже — Купальный переулок, а ныне — переулок Веры Инбер).

Теперь здесь высотка.



А соседний особняк ещё жив, и кто-то ещё живёт в нём, и выглядывает в окно по утрам, и видит, как по тихому переулку текут любители ранних морских купаний и ласкового солнца.

Уже через час вид из окна будет совсем другим, да и само окно придётся закрыть, скорее всего, от шума, от гула, от наливающегося жаром воздуха.

Откроется окно лишь вечером.

Солнце уйдёт далеко на запад, чтобы упасть там за край Земли и уснуть.

Потянет ночной свежестью, можно будет расслышать голос моря.

Люблю этот переулок, выходящий на мистическую Черноморскую улицу.

Впрочем, никакой мистики в ней нет, а есть печальное свидетельство истории: оползень, случившегося здесь в мае 1918 года. Морская сторона улицы сползла.

Но иногда в свете полной луны откуда-то снизу, со склонов, поднимаются дома, унесенные оползнем, и улица становится такой, какой была сто лет тому назад.

Луна прячется за облака, дома-призраки исчезают, да и не было их вовсе — это густой туман поднимается с моря и клубится, принимая причудливые формы.

Здесь, словно у сказочного камня на развилке, надо выбрать. Направо пойдёшь — к Паустовскому придёшь. Направо... Да мало ли, куда можно прийти, свернув направо. Главное, что если прямо пойдёшь, то непременно придёшь к морю.

Воздух плюс 28. Вода плюс 21... Песок обжигает.

Небо далёкое и близкое, ни облачка с утра, и если не лениться и встать пораньше, то можно и на любимом камешке посидеть после купания.

А в городе событие: цветёт софора японская. Есть, конечно, ещё много событий, хороших и разных, это же Одесса, но цветущая софора — самое значительное из всех...